

A painting of a landscape. In the foreground, a dirt path winds through a field of vibrant red and orange flowers, possibly poppies, with some blue flowers scattered throughout. The path leads towards rolling green hills in the distance. The sky is a deep blue, filled with soft, white, and grey clouds. A single dark bird is seen flying in the upper left corner of the sky.

Павел Богучаров

ПЕРЕНЕСИ МЕНЯ

18+

Павел Богучаров

Перенеси меня

«Автор»

2025

Богучаров П. И.

Перенеси меня / П. И. Богучаров — «Автор», 2025

Автобиографический сборник глав и рассказов о своей малой Родине – Хоперском крае Волгоградской области. Первые две главы «Революцанеры» и «Перенеси меня» - связаны между собой историей жизни – от дореволюционного периода и до конца 50-х годов прошлого столетия – женщины Ангелины, которая хуторской девчонкой-красавицей попала в пекло Гражданской войны, очутилась в Москве, более десяти лет – до болезни – являлась подстилкой партийных большевистских руководителей. Болезнь и совет старушки в больнице вынудили ее уехать на родину. По пути, на железнодорожной станции, нечаянно повстречала безногого инвалида, которого в революцию смертельно боялась, от которого и бежала. С ним она в конце концов связала свою жизнь.

© Богучаров П. И., 2025

© Автор, 2025

Павел Богучаров

Перенеси меня

Пролетары

Наши родители познакомились во время войны. Иосиф Павлович в то время работал в Нехаевском ЭМТЭЕСе, механиком, а Нина Дмитриевна, тогда ещё девушка Нина, Нина Голованова, трактористкой в хуторе Авраамовский. Война Великая Отечественная до нас не докатила, но дыхание её было близким. Всё взрослое мужское население встало под ружьё. В моей памяти из детства остался такой вот эпизод – празднование Дня Победы в шестидесятых годах в нашем хуторе. Большое-пребольшое количество фотографий павших наших хуторян было размещено на стендах в клубе. И вот, стоит перед этими фотографиями хуторянка, бабушка в платочке беленьком, трогает сухонькой, негнушейся, закостенелой от непосильных трудов ладошкой то одну фотографию, то другую, стоит, плачет и причитает:

– Да мои вы жалки, да вас же тут поболее на карточках, чем живых в хуторе осталось...

Маме нашей в сорок первом исполнилось семнадцать лет. Уже в первые месяцы войны она вместе со своими сверстницами закончила короткие курсы трактористок и получила СТЗ: трактор Сталинградского тракторного завода.

– А они же, Паша, – как рассказывала мама, – а они же, энти трактора, холодные были!

– Что значит, холодные? – спрашивал я.

– Холодные и всё! У них же ни крыши, ничаво! У тракторов. Ужас! Мы на них сели после курсов трактористок поздней осенью в сорок первом. Зябь поднимать надо было! Под яровые. А осень холодная вышла. Сидение железное, колёса железные и вот с такими железными шипами! Сантиметров по десять-пятнадцать! Я раз встала в Глинищах! А там гоны – по километру и больше! В одну сторону. Ага, встала. А одета как была? В мужских ватных штанах, в фуфайке ватной и в двух пуховых платках. Один на голове, второй под фуфайкой, на поясе. Ага, встала! И стала на землю спускаться, да как-то повернулась не так, но я же как капуста была нанизанная! Ага! Повернулася, запуталася и повисла на хлястике на фуфайке на этом колесе железном с железными шипами. А хлястик-то был прочно пришитый! Во-от повисла и висю! Напугуненная!

– Какая-какая?! – смеюсь я.

– Напугуненная! ...Ну, как пугало! Понимаешь или нет? Никогда не слышал, что ли? «Напугуненная»?..

– Не-ет...

– Эх ты! Учиси, вон где, а такого слова не знаешь! Как же вас там учуть? И вот, значить, висю. И ни туда, и ни суда! Ну, вот форменно – висю и все! Трактористка разнесчастная! Сначала думала, и чтоб он треснул, хлястик! А он ни в какую не трескает! Попробовала растябнуться, чтоб прям из фуфайки и личиком своим белым, – мать улыбается, – ... личиком своим белым в чернозём...

Отец недоверчиво всмотрелся в лицо «жаны сваёй».

– ...А он же чёрный-чёрный, чернозём наш! – с улыбкой продолжила мать. – Ага, ткнуться в чернозём, а пальцы меня не слухают. Ни в какую! Пальцы околели. Стала думать дальше: а кто же тут ещё поближе ко мне находится? Кому орать? Висю, а сама кумекаю ещё! А орать-то и некому! Некому! Из людей ко мне тут поближе кто? Марго Мария! Но она же меня не видит и не слышит! Напугуненную! А она на той стороне поля, тоже напугуненная не хуже меня, пашет одна, а я на этой, и тоже одна! Она с той стороны пашет, а я с этой! Чаво делать? Мысли-то какие-то в голову лезут: – «Нинка-а, и будешь ты тут висеть, пока папаня не при-

дѣть с войны и не сниметь тебя!» И смех и грех! Меня прямо уж и отчаяние охватило! Думаю дальше: наши там, папаян, Царства ему Небесная, другие с немцами бьются, гибнуть, Родину защищают, а я тут на хлястике висю! Висю и пла-ачу-у – горько, горько! Обидно было. Во как!

– Долго висела, мам? Напугуненная?

– Хм, – мама коротко хохотнула. – Да повисела трошки, пока Андрей Петрович не снял. Я тогда, когда висела, про него совсем забыла. Ты же его знаешь, Головин! Его на фронт не взяли по малолетству, и он с нами, девчатами, при технике колхозной состоял. Так и ходил за нами. А он же высокий! И тогда был высокий, как дудак длинноногий, ходил за нами по полям. Где, чаво...

– Каво чаво, каво снять с колеса... – ехидничает отец.

– Да, – соглашается мать, – если бы не он, не знаю, сколько бы я провисела.

– А потом? – спрашиваю я. – Часто зависала на этом колесе?

– Да не-е, привыкла к этой железяке...

В каждый свой приезд на родину, особенно перед смертью отца, в каждый свой приезд я дотошно выпытывал у родителей: а как происходило ЭТО? А как – ТО? И именно в ТОТ самый плодотворный мой визит за НЕТЛЕНКАМИ, зимой, мы и коснулись деликатной темы – знакомства наших родителей. Отец морщился, щетинился:

– Ну, коне-ечно, – продолжая тот разговор, кривился он в тот раз, – женщина на тракторе, да напугуненная ишшо – это беда, Паша, беда... На колесе она повисла. Хорошо, не под колесом оказалась.

– Беда! Я что, по доброй воле на трактор села? Надо было, вот и села. Да! Беда была, война! А потом мне даже понравилось ездить на этом СТЗ. Послушный такой. Куда ты его повернул, туда он и едет.

– Война, война... – отец поменял тональность разговора. – Да-а, время было-о... Морозы стояли жуткие! Вот, сын, я тебе вот чего расскажу. Ты, Нина, погоди трошки, напугуненная, со своим СТЗ и лицом своим белым...

– А что, разве не белое?

– Да, а то! Страсть как белое! Сурьёзно! Я вот, Паша, один раз в первую зиму военную ехал на своём конике с Нехаево из ЭМТЭЭСа в Калач за запчастями...

– В Воронежский, что ли? – хотя я и предполагал, что ехал отец в Калач Воронежский и в мыслях уж прочертил путь до Калача; мне хотелось принять участие в разговоре: спросить ЧТО-ТО, услышать ответ. Поумничать, словом. Но отец замер в вопросительном знаке.

– В Воронежский Калач? – расшифровываю я и понимаю, что вопрос мой глупый!

– Ну а какой же, Паша! В Воронежский!

– Верхом? ... Ехал верхом? – как по накату, ставлю я второй вопрос и понимаю, что он глупее первого...

– Да что ты?! За запчастями, я тебе говорю! Верхом как ты их привезёшь? Железяки! В карманах, что ли? В санях ехал. Правда, в выездных санях. В хороших таких, но они же и полегче, выездные!.. В тот Калач, да ты что?! – Отец пристально посмотрел на меня. – Там уж и война была, под тем Калачом! Жуткая война, как рассказывали! Ага! Еду в Воронежский, а зима такая лютая! Страсть! И мороз тебе, и снег! Старые люди тогда вспоминали, что зим таких суровых они сроду не видали! И вторая зима военная такая же была холодная! Ты понимаешь?! В войну так было. И вот, еду уже туда, Верхнюю Речку проехал, Краснополье. А позёмка такая ти-ихая тянет, лишь снежок сверкает. Солнце светит же! Всё вокруг белым-бело, и всё сверкает и переливается, аж глаза болят от света. А я в нагольный тулуп свой закутался, сижу и вроде как дремлю. Работали же день и ночь, всё на ногах, на ногах, а тут – отдых! Фактический перекур! Хе-хе! Холодно-холодно, а сморило меня трошки! И вдруг лошадь моя как зафыркала, как зафыркала, и сани туда-суда пошли. Не пойму, в чем дело! Лошадь в дыбки! Я её – но-о! А она ни в какую, не идѣть! А мы из ложбиночки выезжали, и я не вижу, чего лошадь моя видит! Но

она как бы ещё трошки продвинулась вперёд из ложбины. Я же её погоняю! И вот мы немного приподнялись наверх, и у меня такая картинка перед глазами – о-о-о! Хыть сам в дыбошки вставай! Представляешь, сын, вот степь! Да только не белая, какая пять секунд назад была, а серая!! Даже как-то и черная! Стрась! И шевелится!

– Да что же это такое?! Зимой? Серая, чёрная и шевелится! Степь?!

– Зимой! Шевелится! Степь!

– А отчего же она шевелится?

– Мыши, Паш, мы-ыши! Стра-ась! Миллионы и миллионы их! Лавина прям! У меня шапка на голове кверху полезла, да и на тулупе моем, наверное, шерсть дыбом встала!

– А может, крысы?!

– Да мыши, я тебе говорю! Ты чё? Я крыс, что ли, не видал?! Мыши! Мильёны!

– А куда же они бежали?

– Через дорогу! Прямо вот перед нами лавой шли.

– Да-а, картинка жуткая. На восток, поди, двигались, – философствую я после недолгой паузы, – подальше от войны бежали...

– Ды, я тебе скажу, они не на восток двигались, а в другую сторону, – возразил мне отец и, заметив моё недоумение, продолжил. – Я же, Пашка, хыть в школе не училси, а кумекаю, где восток, а где чё. И крыс от мышей отличить могу! Я про то тыщцу раз вспоминал. Она у меня вот в глазах, как ты говоришь, картинка та. До мелочи. Вспоминал и сам диву давалси – куда же энти мыши перемещались? Если на восток, там, в том месте, где мы с коником встали, они должны были бы бежать в сторону Урюпинска, а они – вот туда шли, к Вешкам, к фронту! Южнее! К тому же Калачу-на-Дону! Путь у них был какой-то непонятный...

– Может, от голода и холода к скирдам?

– Да вот в том-то и дело: сзади, откуда они бежали, два скирда стояли, а впереди, куда они двигались, ни одного не наблюдалось.

Я молча, глядя отцу в глаза, осмысливал услышанное, а отец кивнул головой:

– Вот ана как!

– Интересно, – подумал я вслух.

– Интересно. ... Потом уж, потом я понял, что они на запах шли! – со значением сообщил родитель.

– На кровь?..

И тут, глядя на меня, широко открытыми глазами, отец многозначительно промолчал.

– Но туда же!.. – стал я прикидывать расстояние. – Туда, к фронту!.. Все сто километров было!

– По прямой – короче, – резюмировал отец.

Удивительное в истории с мышами, которые в лютую зиму «на запах бежали», другое. Более 20 лет спустя, после смерти отца, когда всемирная паутина прочно оплела моё Подмосковье, вот в этой паутине-Интернете я вычитал один любопытный факт про Сталинградскую битву. В свою очередь, этот факт был опубликован в июне 2014 года в народной газете «Дари добро». Там описывается, как немецкий танковый корпус (это три резервных дивизии) под командованием генерал-лейтенанта Фердинанда Гейма, предназначенный для отражения Советского наступления, – именно здесь, под Сталинградом! – подвергся нашествию мышей. Две немецкие, 14-я и 22-я, а также 1-я румынская танковая дивизия «Великая Румыния» как резервное формирование «...простояли без движения так долго, что мыши летом соорудили себе норы внутри боевых машин. Зверьки перегрызли всю электропроводку, и танки, естественно, не могли быть немедленно отправлены в бой». В этой же статье говорится о том, что британский военный историк Энтони Бивор не без иронии писал о «мышьях-антифашистах», которые в решающий момент сделали неспособными танковые дивизии... И в связи с этим

немецкие солдаты, оказавшиеся в Сталинградском котле и вокруг него, говорили: «Не только русская зима против нас, но и русские мыши».

Трудно, да и невозможно подтвердить родственную связь «отцовских» мышей с «мышами-антифашистами» под Сталинградом, но, согласись, дорогой ты мой читатель, факт этот – прелюбопытный!

Вкусив ушника из молодого петушка-драчуна, мы сидели за столом: отец, мать да я. Мама собиралась пряхать пух, отец часы соседке бабе Клаве решил «довести до ума», а я косился на отцовскую подушку, на которой беззаботно можно было лежать и слушать своих родителей. Я ещё был ошарашен рассказом отца о колдуне-«революцанере» Перетрухине и никак не мог вобрать в себя невероятные кульбиты жизни Гришки Перетрухина в хуторе Водины и связать её с жизнью генерального секретаря ЦК КПСС М.С. Горбачева. Это же... какое внешнее сходство – до пятна на лбу?! – и непреодолимая пропасть между личиной и личностью, Гришка или Михаил Сергеевич, – думалось мне тогда. Я уж, как Фома неверующий, несколько раз переспросил отца: А так ли всё это было на самом деле, с Перетрухиным. Да... Отец обижался:

– Я тебе, Павло, не энтот... какой сказки сочиняет. Я тебе истинную правду рассказал.

Страничку с Перетрухиным мы, кажется, закрыли, и впереди нас ждут новые герои. Их будет много, и все они потребуют к себе внимания. Пристального каждому выделить не обещаю, но они реальные герои. Взаправдашние. Только некоторым из них, чтобы никого не обидеть, я дам другие имена и фамилии. Кое-кто из друзей моих и товарищей, которых называют «доки в словесном деле», так кое-кто «осудил» меня за то, что работаю я в стиле барокко! Виньеток, в смысле героев и событий, виньеток слишком много вокруг главного. Понимаю я это, друзья мои дорогие и товарищи, и признаюсь, что мне скорее хочется добраться до хуторка, в котором мы все, дети Иосифа Павловича и Нины Димитриевны, были рождены. Мне скорее хочется попасть в Нижнюю Речку. В детство своё спешу! Хорошо там было! Спешу, а спотыкаюсь на других фактах, на виньетках, которые тоже нужны. Которые рисуют и, как мне кажется, дополняют и украшают общую картину жизни моих родителей, родственников, соседей, жителей родного моего Хоперского края. Вот и выходит лепнина такая. Потерпите, друзья мои, товарищи! И ещё: знаю я, что происходит несовпадение моих взглядов со взглядами нынешних киношников, «телесериалистов» на людей села, на жизнь их. Правда, про хутора и сёла фильмов сейчас и нет, а если и случайно возникают, то взгляды наши, как плюс и минус. Противоположные. Боюсь закопаться в разъяснении своей точки зрения. Много «винограда» – виньеток, в классическом смысле слова этого, выйдет. Но она, точка моего зрения, выложена в жизни, поступках моих героев. Коротко будет сказано: просто я их люблю – родителей, дедов, бабок, соседей своих!

– Вот! – скажешь ты с издёвкой. – Слезу ещё пусти!

– Так пускаю! Ещё как! Порою заливаюсь ими, горячими! Сам Александр Сергеевич говаривал: «Над вымыслом слезами обольюсь». Но одно дело «вымысел», а другое – прадед родной Иван Осьпович! Царство ему Небесное вместе с Александром Сергеевичем. Но ты понимаешь меня, дорогой! Да!

Итак! Когда я понял, что страничка с Перетрухиным уже закрыта, глядя на родителей, я ребром поставил вопрос:

– И как же вы познакомились?

– Погоди, Пашка, – остановил меня отец, – наше знакомство с твоей матерью никуда не уйдёт, а я тебе ещё расскажу про другую трактористку. Про эту... – Отец посмотрел на мать. – Про эту... Лину-Малину...

– Сталину! – подсказала мать.

– Ага-ага, про неё. Сталину. О-о, Сталина! – отец просветлел и легко вздохнул.

Мне нравился ход мышления моего родителя: вот то-то и то-то – «никуда не уйдем». Отец иногда употреблял это выражение: «никуда не уйдем». Ну да! Свершившееся! Запечатлённое в памяти, оно, действительно, «никуда не уйдем». Если не забудется и не сотрётся.

Видишь? Опять виньетка выходит. Но моей вины тут и нет. Это родитель мой канву «плетёт»! Про трактористку тётку Сталину вспомнил. Ага! Помню, мать всплеснулась тогда:

– На колёсах она, может, и не висела! Она старше меня вон на сколько! Мне тогда было семнадцать, а она старше меня, намного старше. Уж тёртая была перетёртая...

– Да я не про то! – отмахнулся отец и повернулся ко мне. – Ты её помнишь?

– Ну а как же! На Нижней Речке она жила, у тебя в мельнице часто бывала! – ответил я. – Она ещё курила папиросы, размахивала руками и говорила: «Я – Сталина, курю Герцеговину!»

– Как-как? – удивился отец.

Я повторил.

– Точно так! Я забыл, а он всё помнить! – взглянув на мать, ещё больше изумился родитель. – Но откуда ты это всё помнишь?! Ты же маленький был ещё! Совсем маленький!

– Я уже в школу ходил, пап! Имя Сталина произошло от фамилии Сталин. Имя искусственное! А сам Сталин любил папиросы «Герцеговина Флор». Тут и догадаться не трудно. Я же, пап, отличник по истории был! Ты забыл?!

– А-а-а, – смеётся отец, – трошки подзабыл, подзабыл...

– А вообще её звали Ангелиной! – вставила свое слово мать. Из горницы она принесла чёсаный пух козий, прялку современную электрическую, установила её на табуретку. Прялка эта, модифицированная, выглядела... ну, совсем примитивно: веретено на маленькой доске. На ней, доске, установлен моторчик от проигрывателя с выключателем-выключателем, а от доски отходил шнур с вилкой. И вот уселась Нина Дмитриевна в центре хаты, включила моторчик, веретено закружилось, закружилось, и вместо полонеза Агинского полилось мурчание... Ангелиной её звали, – повторила мать.

– Ангелина?! – удивился отец. – А зачем она... эта, поменяла имя?

– Пап, ну, в те времена было модно давать такие имена. Революционные! Менять имена...

– А ты не помнишь начальника одного из Москвы, какой в ЭМТЭСЕ у вас работал? – не отрываясь от своей мурчалки, спросила Дмитриевна. – Я вот по имени его только и запомнила – Индустрий его звали! А я тоже в школе хорошо училась, историю любила, а там ведь – «индустриализация, коллективизация»... – много чаво про это было сказано. Правильно, отличник? – мама склонила голову в мою сторону.

– Точно так!..

– А-а-а, – отец от удивления слегка приоткрыл рот. – Как же, как же! Помню, помню! Но его же, эта, все «Вдустрием» звали?! Помню, помню! Глянь, прям вот сейчас и вспомнил!! Надо же! ВДУСТРИЙ! Точно, точно!

– Мы ещё все девчата трактористки ходили тайком смотреть на него, на этого «Вдустрия». Кто-то пустил такую фуку, будто у него на лбу шестерёнка, и она крутится. Из Москвы же! Умный! Никто, конечно, в это не верил, а смотреть ходили: а вдруг и правда? Шестерёнка!

– Точно! У этого Вдустрия голова была здоровая – вот такая! Как тыкла! – Отец жестом обрисовал контур головы. – С хорошую тыклу и выходило! Но у него на лбу, прямо посередке, вмятина была, а от центра вмятины складки отходили, ну, как у шестерёнки эти... Но он, подлец такой, и вправду, башковитый был! В технике...

Про «Вдустрия» с шестерёнкой на лбу историю я уже слышал от родителей, поэтому нетерпеливо обратился к отцу:

– Пап, ну давай дальше про Сталину!

– Ага-ага, про неё, ага! Про Сталину. Так как она кричала, с папиросой? Напомни, напомни мне...

– Я Сталина, курю Герцеговину!

– Ну и отличники, ну и отличники! Точно так! – Опять родитель мой в изумлении. – Точно! А курила, курила! Ге-ге... Но какую там... «ЦАВИНУ»? «Прибой» она курила, «Север», козью ножку ещё смолила, о-о! Интересная она была женщина! Страшно интересная! Ты помнишь, в мельнице у меня торчал лом? Прямо чуть ли не в центре? Мельницу в Нижней Речке построили ещё до меня. И для чего этот лом воткнули, я так и не дотумкал. Как рычаг использовали, что ли? Когда жернова затаскивали? Может, и так. Видать, жернова затащили, установили, а лом так и оставили? Он всем мешал, но вытащить его было невозможно! Кто только не пытался! Один раз я споткнулся об него и упал. Упал так сильно, к тому хромой ногой больно стукнулси. Упал и так разозлился! «Народ!!» – кричу. А народу в тот раз много было. Да она всегда там людей тьма была. Ага! «Народ! – кричу, – вы вытащите этот лом, об какой я каждый Божий день спотыкаюсь? Или я мельницу остановлю!» – гляжу, «народ» мой медленно собирается к лому. Ты же его помнишь, лом этот?

– Помню, пап. Сам спотыкался об него.

– Но я же истинную правду рассказываю. Ага! Вот, собрались и стали тянуть его из земли. Один тянет – ни в какую! Другой – лом ни с места! И вдвоём тащут, и втроем... а втроем – как? Она, верхушка лома, точит из земли и всё. Втроем и не ухватишься. Но как-то пытались, да все бесполезно, Паша, бесполезно! Гляжу, Сталина в своих кирзовых сапогах, с папиросой во рту, появилась. Пашаничку привезла для помола на тракторе своём. Ага! И вот, только подъехала и сразу, сходу:

– О-о, пролетары, пролетары!

Присказка у ней такая была – «пролетары!» Ага! Вот и орёт, дескать, чаво вы тут, пролетары, в кучку собрались? Всех растолкала. Поняла, в чём всё дело, ага, и орёт дальше, как оглашенная:

– Тоже мне, силачи! А ну, разойдися! Я сама! Я сама! Я покажу вам, как баба с ломами расправляется!

О, как она любила приговаривать: «Я сама». Ага. Всех растолкала, все и разошлись. С дурковатой женщиной лучи не связывайся! Сам дурковатым станешь! Ага! Ухватила за лом и ну тянуть его. Лом, понятное дело, и ей никак не поддаётся. Покраснела, сопит, а сдаваться не хочет. Дольше всех билась с этим ломом!

– Палыч! – кричит мне, – как будто держать кто его, а?

– Держить, Сталина Федоровна, держать, и мы все, тутошнии пролетары, так и решили! – поддакивает ей Иван Куликов. Ты его помнишь, Ивана?

– Помню, помню! Горбатый такой...

– Ага, ага, горбатый! Но он же такой и ехидный человек был, и каверзный. Когда он говорил, трудно было понять, шутка это была или сурьёз. «Ага, – говорить, – держать. Он, видать, там, Сталина Федоровна, привязанный к чамуй-то! Мы вот так тут все, пролетары, до тебя и решили: лом привязанный».

Все переглянулись, закричали. Ктой-то ишшо фуку пускает:

– Надо полезть и отвязать яво.

Сталина долго моргает, как бы соображает, оглядывает всех, а все – ну жутко сурьёзные!

– А к чему же он могёт быть привязанный? – спрашивает она, наконец.

– Скорее всего, к другому лому. Тот ляжить, а этот стоймя стоять. И как ты его вытащишь? Если тот ляжмя, а этот стоймя?! – опять Иван вставляет. Но он же, подлец, не на Сталину смотрит, а на меня! Для большей убедительности!

Тут все заголосили, задвигались:

– Палыч, долго мы тут, пролетары, мучиться будем? – все же стали потяшаться над этой Сталиной! Ага, открыто потяшаться! – Долго мы тут все, пролетары, мучиться будем? Спотыкаться?! Пошли кого-нибудь, пусть полезет и отвяжет этот лом!

– Да-а, а кто жа полезить? – и я затылок чешу. – Кому, – говорю, как бы сам с собой рассуждаю, – кому, – говорю, – какому пролетару энто сурьёзное дело поручить?

– Так Сталине Федоровне! – Куликов горбатый предлагает.

– Сталине Федоровне!!

– Сталина Федоровна!

– Она у нас – вон какая! Настоящая Пролетáра!

– Боевая!

– Она у нас всё могёт! – кричат все вразнобой.

А её только похвали! Она такая дурочка была! О-о! Как Пашаня! Они жа и подругами были с Пашаней! Я вот, сын, заметил, что человек страсть как любить, чтобы его хвалили! Похвали! У него ум за разум зайдёт, застелется энтой самой похвалой, тогда он лоб сабе расшибёт! Но она же, Сталина, доверчивая ещё была! Как дитё! И вот распрямилась она, Сталина наша Федоровна, оглядела всех, мол, ну я вас шас спасу всех! Пока не знаю, от чего спасать, но спасу! Ага! Закурила, в одну точку – на лом – смотрит и так рукой машет:

– Шас, шас, погодите трошки, дайте дыхнуть! – пыхтела, пыхтела сваёй цыбаркой да и спрашивает. – Это жа надо так додуматься? К другому лому привязать?

– Действительно! – поддакивают ей.

– Главное, какой дурак энто дело сделал? – Сталина Федоровна дальше пыгает.

– Да форменный дурак! – хором орут ей.

– Глупой пролетар!

– И никакой не пролетар! Дурак и всё!

И был ещё один в мельнице – с Маркиных. Друг деда вашего Митьки, Николай Макаров. Стрелок. Он тожа как сказанёт, сказанёт! Ага. Вот этот Макаров и говорить:

– Я табе, Сталина Федоровна, так скажу! А второй лом ещё крепче привязанный!

– Как-так?! – У Сталины нашей и папироска изо рта вывалилась. – К чаму?! К третьему?!

– Да если б к тре-етьему! Пол бяды! – тянет Макаров.

– А к чаму жа тогда?! – ошалела Сталина. Глаза вылупила... Ага!

– Это мериканские буржуи, сволочи, над нами, советскими пролетарами, потяшаются!

Лом энто с той стороны земли на болты посаженные! Палыч, ты понял?

– Зачем? – и я сурьёзно накидываю, а сам и кумекаю: и чаво жа он такое сейчас сказа-нёт?!

– Чтобы мельницу, – Николай говорить, – чтоб мельницу нашу с колхозом вместе взорвать! К чёртовой бабушке! Гады и сволочи мериканские!

– Все как грохнули от смеха. А Сталина смотрела-смотрела на мужиков, как они гогочуть, да видать, и поняла, что над ней потяшаются. Плюнула и пошла из мельницы. Вот такая у нас была Сталина Федоровна.

– О-о, да вы такие все умные были! – заговорила мать. – Потяшались над Сталиной. Вы её вообще не знали! Это она над вами, дурочками, потяшалась. Поддакивала, чтобы развеселить вас.

– Ты чего, чего? – не понял отец. – Я правду, истинную правду рассказал. Разве не так?

– Да так, так, – мать вздохнула. Хотела она что-то сказать, да промолчала.

– Вообще, – продолжил отец, – вообще в то время народ был интересный. Сильный! Это же после войны всё было! После войны, Паша...

– Так что с ломом вышло? – перебиваю я отца. – Я уже не помню, отвязали его?

– Отвязали! И знаешь, кто?!

– Кто?

– А Степанида, какая ниже мельницы жила! Ты жа должен её помнить!

– Конечно, помню тётку Стеньку! И как она с тем ломом расправилась?

– Да как? Она тут же со всеми стояла. Когда Сталина ушла, Степанида всех распихала, молча подол подобрала и села на землю. Лом между ног... ухватила его и ну раскачивать. Качала, качала, и лом зашатался. Тут мужики все: «Дай я! Дай я!». Степанида только и отмахивается. Так молча она его и вытянула! Одна!

– О-о, Степанида – сильная была женщина, страсть! – делает дополнение мать.

– Но я тебе про Сталину другой случай хочу рассказать! – продолжает отец. Отец тоже без дела не сидел: на рабочем своём столе он подыскивал проволочку для анкера к ходикам со страшным котом, которого принесла соседка Клавдя. – Нина, – обратился он к матери, – ты ВОН ТУ проволочку со стола моего рабочего не брала?

– Какую – ТУ?

– Ну, вон ТУ! – отец на пальцах изобразил ТУ проволочку.

– А-а, ТУ... Да зачем она мне, твоя проволочка, нужна? И сто лет я её не трогала, – прялка всё мурчала, мурчала...

– А кто же тогда её трогал? – родитель и на меня посмотрел, нервно задвигался. Возникла пауза. Продолжительная. Только гвоздочки, баночки, молоточки, шильца и иные железки под широкой ладонью отца звякнули, брякнули на столе рабочем. – У меня же специальная такая проволочка лежала тут! Вчарась! А?! Я же её вот этими своими собственными руками трогал, и вот этими собственными глазами глядел на неё! Нина!!

– Чаво?! На чаво ты собственными глазами глядел?

– Чаво-чаво! Иде моя... А-а – вот она. Вот-вот, – отец вновь повернулся ко мне и озаирился плутоватой улыбкой, подмигнул – бываить!

– Я гляжу, ты со своими проволочками в последнее время круженный стал! – заметила мать. – Вот, Паша, чего-нибудь положит и тут же потеряет отец твой...

– Старый пролетар! Чаво ты хочишь... – вздыхает отец. – С тобой закружисси...

– Пап! Давай про Сталину! – нетерпеливо требую я.

– Ага! Ну-ну! Это ещё в тридцатых годах было, в ЭМТЭСе. Я из тюрьмы как раз пришел, а она там с бумажками уже бегала. На трактор позже села, а вот кем она там состояла? Убей, не могу сказать! Чего-то на машинке печатала. Бумажки какие-то носила, распоряжения давала, но начальницей она не была. Умом до начальницы она не тянула, нет. Вот ходит по цехам с папирсой, орёт, как бешеная:

– Пролетары всех стран... как это, – замешкался отец, вспоминая.

– Соединяйтесь! – подсказал я.

– Ага-ага! Соединяйтесь! – родитель уже без какого-либо удивления вскинулся и посмотрел на мать. – Он у нас, случайно, не внучок энттой самой Сталины?

– Нет. Он у нас был отличником по истории! Ты разве забыл? Пролетар? – мама ласково посмотрела на своего сына и подмигнула ему.

– А-а, ну-ну, раз отличник, тогда – ага! – отец тряхнул головой и энергично продолжил! – Конечно, над ней потящались! Как же такое можно было мимо пропустить? И работали у нас в ЭМТЭСе два брехуна. В инструментальном цехе оба. Один с Сычей, другой с Лобачей. Одного звали... вот и забыл, а другой... – Отец чешет макушку. – Тожа забыл...

– А чего тут забывать? Лобачевского звали Терентий Михалыч, а того – наоборот – Михал Терентич!

– Да-да-да-да! Точно так! – подтвердил отец. – Один – Терентий Михалыч, а другой – Михаил Терентич! О, это были такие брехуны! Один брешить, другой подбрехиваить! И так у них всё это выходило складно да ладно! Любого человека могли разыграть! Да!

– Да-а, наш Терентий Михалыч – брехун был несусветный! – вспоминает родительница.

– Они были родственниками, что ли? Брехуны? – спрашиваю я.

– Да нет! Какие родственники... Один высокий, другой маленький. Маленький начинал брехать. А брехал он так: напирает, напирает на тебя и так сурьёзно! Глазом не моргнёт!

А большой покачивается из стороны в сторону: мол, и чего такое творится?! Ужас какой?! Подбрёхиваить так. Ага! Жизнь, она тогда всех ломала, но жить-то надо было, и жили, и, как говорится, – отец задумался на секунду, – приспособлялись! Э-э, сын-сын! Отличник ты наш по истории! История, Пашка, другая была. Не какая в ваших книжках, а совсем другая! Вот тебе наглядный пример. В Дьяконском!.. – Родитель резко на всём ходу перескочил на другие рельсы своего повествования. – Хутор знаешь такой? Бывал в нём?

– Слышал, но не бывал...

– Он туда, к Хопру. Не знаю, как сейчас, но знаешь, какой это хуторок был? Какие там сады цвели! Там сестра моя двоюродная жила, Ульяна. Ульяна мне это все и рассказывала. Её дочка Шурка, сестра твоя троюродная, в школе в Нехаевском работает. Может, сейчас и не работает, не знаю. Максимова она. А Сталина энта, она тоже с Дьяконского была. Кумекаешь? И Терентий Михалыч – тоже оттуда. Потом он в Сычи переехал.

– О, Паша! – оживляется мать. – Ты чуешь, какой клубок отец твой, пролетар старый, мотать начинать?

– С вами тут намота-аешь! Наслухаисси вас, и сам мотать начнёшь! – кривится родитель. – Ага! И вот энта Сталина... Фамилия у ней, Пашка, была Зюкова. У нас на Водинах тоже Зюковы проживали. Не знаю, с Дьяконовскими они родственники были, Зюковы, или нет. Но неважно. И вот, значит... семья большая у них была, у Зюковых, и жили они рядом с сестрой нашей, Ульяной Акимовой. А когда начали кулачить, энти Зюковы, как бедняки вошли в члены совета, какие описывали имущество. Но они же были – голь перекатная! Зюковы! Лодыри несусветные! А тут время их подошло. Грабить по закону. И пошли они, Пашка, описывать по закону! Чего им нравилось, то и описывали. Сестра Ульяна попала под эту статью. Под раскулачку. Но они не то чтобы богатые были. Акимовы! Но не бедствовали. И корова, и быки у них были, и всё, как положено, как у всех семей. Так Зюковы у них всё забрали, всю живность: корову, овец, понимаешь? Быков, – отец выставил передо мной указательный палец, – перины отобрали, одеяла, подушки, и к сабе в хату, Зюковы! А Акимовым на чём спать? Отличник ты наш? Что же это за власть такая справедливая была? Пролетары? Хэ!.. И вот, и слухай! В одну подушку, старую уж, бабка Дуняшка Акимова вшила крест железный, какой у них в углу, где иконы висели, стоял. И вот на этой подушке баба Дуня и спала. Ведь и иконы, все иконы снимали энти члены совета, какие имущество описывали. Главный был у них Серёгин. С наганом ходил. О-о, ещё тот пролетар! Дурак так дурак! Бывало, скачут на лошадях по хутору с наганом, и брат Сталины вместе с Серёгиным разъезжал. И вот, скачут эти пролетары по хутору, а все прячутся от них, от дураков, а Серёгин ещё стреляет куда попало и орёт:

– Мы вас, кулачье, научим уважать советскую власть!

Вот какие такие учителя были! Ты понимаешь? И вот оставили они соседям своим меру картошки. Ведро! Чуть больше ведра! А хлеба – зерна – у них был центнер с лишним, так и это, всё до зернинки, отобрали. Это Ульяна мне так рассказывала. Корову отняли! А корова – она же и кормилица, и поилица! Чем детей малых кормить?! А? Как ты можешь мне тут объяснить? Что это творилось? Но это же не с одной семьёй! Во всех хуторах и станицах энти Зюковы и Серёгины наганами трясали! Корову к себе Зюковы определили. А у них-то и катуха для коровы не было! Какой-то ма-аленький катушок плетнёвый, куда корову еле-еле вгоняли. Ей там, бедной корове, и повернуться негде было, не то чтобы спать. Я же тебе говорю, лодыри были, каких поискать! Ага. Корова из табуна идёт... куда она идёт? По привычке! Домой, к Ульяну, в просторный катух, а Зюковы к Ульяне бегут:

– Отдайте нам нашу корову!

– Забирайте, раз она ваша, по вашим законам! – Ульяна им отвечать.

– Но-но-но! – Зюковы с угрозой. – Не оскорбляйте бедноту! А ну пошла, домой пошла, скотина! – на корову.

А скотина-корова упирается! Ни в какую не хочет идти. А те орут на неё и на саму Ульяну.

– Чем ты опоила её?! Па-ачему она к нам не идет? Скотиньяка энткая?!

– Так у вас и катуха нету! Где ей поспать? – Ульяна отвечает. А у ней, у Ульяны, налыгач висел на яслях. Так брат этой Сталины увидел его, налыгач, схватил его, а Ульяна ему и говорить:

– Но зачем же вы налыгач-то трогаете?

– Он вам таперича, – говорит Зюков, – он вам таперича не нужен, он вам таперича не принадлежит, и мы его таперича описываем! По закону!

– По какому-такому закону? Ты понимаешь, Пашка?! – Отец так разнервничался, что и проволочку свою бросил на верстак. – Понимаешь? Налыгач описали!! Отличник ты наш! – Родитель мой почувствовал, что «крыть» мне нечем и спорить я перестал, прочно сел на своего конька.

– Гляди, старый пролетар, – остановила его мать, – проволочку ЭНТУ снова не потеряй!

– Не потеряю! Нина! – твёрдо заявил отец и вновь вздёрнул палец. – Дальше слухай! Вот пришла весна, и сады зацвели. А у Ульяны был такой сад! Такой сад! Так эти соседи Зюковы, голь перекатная, и сад описали. Оставили сестре... там несколько вишен, две или три яблоньки... Точно я и не могу тебе сказать, но оставили чуть-чуть, а главный сад у Зюковых оказался. У пролетаров у энтих, ага! Сад зацвел, как рассказывали, и всё, как положено, а летом и осенью у Ульяны сад, чего осталось от сада, так вот, сад её ломится от вишни и яблок, а у Зюковых – НИ-ЧА-ВО! – Отец картинно сложил фигуру из трёх пальцев. – Те опять к соседям бегут:

– Это поччиму ваш сад ломится от вишни и яблок, а в нашем – фиг с маслом?! Колдуны?! Наколдовали?

Но какие же они колдуны были, Паша? – совсем по-детски объясняет мне отец. – Бабка Дуняшка, какая на кресте спала?.. Во-от! А ты говоришь: пролетары, пролетары! Соединяйтесь, дескать... Зачем соединяться пролетарам энтим?! Наганами трясти?!

– Да ничего я не говорю! – возмущаюсь я. – Давай про ЭМТЭЕС!

– Ага, ага! Про ЭМТЭЕС! – отец включил паяльник и продолжил. – Но! работал у нас и ещё один человек – Тимофей. Гора – человек... Пролетар так пролетар...

– О, да я его знаю! – перебил я отца. – Когда в Нехаеве в школе я учился, часто видел его, Тимофея, и он всегда тебе приветы передавал...

– Ну-ну-ну! – обрадовался родитель. – Да, да! Мы же с ним дружили! Но ты знаешь, какой силой этот человек обладал? Страсть! Я таких, Паша, на своём веку людей не видал! Не-а! Ты знаешь, он самого Ивана Поддубного поборол! Прямо в ЭМТЭЕСе было это дело. Поддубный, он же в наших краях бывал, и не раз...

– Пап! Поддубного никто не борол! Сказки всё это!

– О-о! «Нихто»! Как – нихто?! Тимофей его и борол! «Нихто»...

– Пап, ты сам это видел? Как Тимофей поборол Поддубного? Видел?

– Нет...

– А-а, а говоришь...

– Да я в тюрьме в это время сидел!! – возмутился отец.

– У вас паяльник уже воняет, спорщики! – вставила своё слово мать.

– В тюрьме я был! – не унимался отец. – Как я мог видать? Но люди же все рассказывали, все эмтэесовские работники говорили. поголовно говорили! Как Тимофей поборол Поддубного!

– Выключи свою вонялку! – запротестовала мать. – Народу дышать уже нечем!

– В горницу иди, «народ»! Дышать ей нечем. Иди и там тарихти! Я ничаво не слышу, чаво говорю! – достойно ответил отец, однако взор свой вперил во внутренности механиче-

ского кота. – Паша, давай, мы его до ума доведем!.. Поддержи вот эту проволочку вот этими плоскогубцами вот тута...

Отец и без меня бы мог «поддержать проволочку плоскогубцами» и ТУТА, и ТАМА, но почему-то поручил это мне. Я охотно оторвался от подушки и ухватился за плоскогубцы.

– А мне, между прочим, – доверительно сообщил я отцу, – мне нравится запах канифоли!

– И мне! – глядя близко мне в глаза, с улыбкой признался родитель.

Коту механическому мы присобачили анкер, я вновь очутился на отцовской кровати и закинул ногу за ногу, а отец продолжил рассказ:

– Вот я тебе, Паша, скажу! Чего я в жизни своей заметил, то тебе и скажу! Все люди имеют свой талант. Все, до единого! Какой-нибудь талант в нем сидит. Плотник, там, кузнец, сапожник, – отец задумался на секунду и вскинулся, – говоруны вон те! Горбач! Смотри, как он чешить языком! А? Чешить и не моргнёт, а? Это же – талант! Ты так могёшь?

– Не-а...

– А-а, то-то же! – отец вдруг озарился хитровой улыбкой. – Лодыри! Лодыри, Пашка, и те есть жутко талантливы!

Мать кашлянула, а я удивился:

– Лодыри?!

– А то не?! Вот как, вот так? – родитель кивнул на меня головой. – Вот как вот так лежать нога за ногу часами! И улыбаться!

– Ты про меня, что ли? – как раз я лежал на огромной подушке, а правая нога, согнутая в колене, покоилась на левой...

– Да шучу, шучу! – Помню, отец тогда посмеялся неуклюже, но шутка та вонзилась мне в память занозой.

– Ага! – продолжил он. – Так вот так вышло, что энта Лина-Сталина что-то сказала Терентию Михалычу. Я уж теперь не помню тонкостей, но чем-то она его задела! Ну!.. Нехорошее сказала! Но они же там, по Дьяконовке, хорошо друг друга знали! В одном хуторе росли! Ляпнула и ляпнула, можа, тут и забыла, а Терентий Михалыч, видать, решил ей ответить. Но как?! Повод какой-нибудь надо было найти, правильно? Дальше! У Сталины, как я тебе говорил, манера такая была – орать по утрам! Идет и орёт, как шальная:

– Пролетары, соединяйтесь! Пролетары, соединяйтесь!

Её и понять было трудно, серьёзно она это кричит или дуркует? Вот у неё какая-то такая манера была, как потягается. Ага! Вот тут ты, – к матери отец обращается, – вот тут ты правду говоришь. Было у неё такое, было. А Тимофей, какой Поддубного борол, он трошки глуховатый был. А может, и не глуховатый! Молчаливый и всё! Ни на чё не обращал внимания! Ему – хуть чаво, а он – мо-олчить сабе и всё! Собрания у нас же разные проходили, в ЭМЭСЕ, а он и на собрания не ходил. «А чего там, на собраниях энтих, делать? У меня от них голова болить!» – Вот так вот скажет и все. А Сталина, она же в активистках ходила! Так выговаривала ему при всех:

– Дремучий ты человек! Тимофей! И никакой ты не пролетар! Социализму с такими, как ты, трудно будет строить!

– Она же, Паша, как Пашаня рассуждала, жана моя вторая. Они же с Пашаней в подружках ходили! В активистках! И что ты думаешь? Один брехун к Тимофею подходит да и говорить:

– Тебя, Тимофей, дескать, Сталина наша хочет взять за жабры! Дескать, человек ты дремучий и в политическом вопросе невоспитанный. Так что готовси!

А второй брехун в это время к Сталине подкатывал:

– Ты вот, Сталина Федоровна, по утрам нас уму-разуму научишь, кричалки разные кричишь, а Тимофей-то у нас трошки глуховатый, да если и не совсем глухой! Ты трошки покрепчи кричи ему! А то какой же с него пролетар получается? Смех и грех?

– Ну и, значица, Сталина Федоровна взяла сабе на заметку!.. Эта... про кричалки! Сама недотумкала, а тут, видишь, как, подсказали. Ага! И на второй же день, с утра прямо, видать, специально шла мимо Тимофея да ка-ак гаркнет на ухо ему:

– Пролетары, мол, чаво вы тут расслаиваетесь? Мол, соединяйтесь!!

А Тимофей, как рассказывали, он аж осел! Не то чтобы испугался, а эта... Ни с того ни с сего крикни тебе вот так! А-а-а... И он, дескать, ей:

– Да ты в своём уме?! Дурковатая ты женщина! Ты чаво, дескать, орёшь?! Ну, и всё такое. Ага! А та загоготала, да и дальше пошла. Ну и завертелось тут всё, и закружилось! Одни с одним брехуном к Тимофею, а другие с другим брехуном к Сталине. Энти говорить:

– Тимофей Иваныч! Сталина энта, ана тебя ни в грош ставить!

А Тимофей им:

– Да Бог с ней! Чаво, дескать, с неё возьмешь?

– Тимофей Иваныч, – дальше его раззуживают. – Ты не понял! Она тебе таперича каждый день про пролетаров орать будет! Пока ты с кем-нибудь не соидинисси! Понял?

– С кем я должён соединиться, с ней, с дурковатой женщиной?! – возмущается Тимофей.

– Ну!.. Ты сам думай, свайй головой! – руками разводят советчики.

Другая группа – к Сталине:

– Сталина Федоровна, Сталина Федоровна, ты так напужала Тимофея Иваныча, что он ажник полчаса заикался, а потом, дескать, и сказал:

– Если она ещё хыть раз гаркнет мне на ухо про пролетаров, то я за себя не ручаюсь!

Вот он так и велел тебе передать!

– Да что он мне могёт сделать, а? Что, что?! – Сталина в ответ этой группе.

– Да он тебя щелканет по банькю один раз, – это Лобачевский ей говорит. Ага, ... я жа, Паша, в энтот шайке брехунов был! Правда, я молчал, но видал всё своими глазами и слышал всё, – Щелканёт пальцем вот этим, то ты коньки отбросишь! Сталина Федоровна, – это Лобачевский ей, Лобачевский!

– Я, коньки отброшу?! Я?! – Сталина петушится! – От дремучего пролетара?!

– Не отбросить! У ней банёк – вон какой!

– Стальной!!

– А у Тимофея пальцы – ты видал? Самого Поддубного под микитки брал.

Это между собой так рассуждают! Сталину разжигают! В шайке, в шайке нашей, ага...

– А ну пошли! Пошли к энтоту Тимофею, – Сталина тут уж всю разошлася, лоб свой потирает, как бы готовится. От нашей шайки кто-то к Тимофею побёг... Тут уж комедь пошла, Паша, комедь! И тут её уж до конца надо было доводить. Ага! Побёг, я уж не помню, кто, да и Тимофею докладáить, дескать, Тимофей Иваныч, Сталина говорить, что у тебя пальцы слабые! Дескать, она готовая банёк свой подставить под твой щелбан.

– У меня пальцы слабые?! – Тимофей, говорили, головой вот так вот помахал, и у него щёки ажник красные стали. – У меня слабые? Иде она, энта пролетара?

И тут они встречаются. Весь ЭМТЭС собрался смотреть! Одни с той стороны, а другие с другой стороны. А командуют энти, с Сычей и Лобачей. Сталина как подошла, так с вызовом и заявила:

– Щелбанов твоих, Тимофей, я не боюсь! Потому что ты дремучий пролетар!

– А еслив, – Тимофей Иваныч так ей отвечать, – а еслив я тебя трошки прищелкну? Ты энтим пойдёшь жалица? Главным пролетарам?

– И никому я жалица не буду! – отвечать Сталина. – Потому что нет таких щелбанов, какие могли бы меня напугать!

А народу, Паша, я ж тебе говорю, все пролетары собралися: гогочут, толкаются, а энти брехуны с Сычей и Лобачей порядок наводят. Круг пошире сделали. И энтот, Нина, энтот подошел незаметно. Вдустрий! Вдустрий! Из Москвы! Но он особо не лез. Так, сзади толпы

остановилси и стоять, наблюдать. Ага! И вот она, картина пошла. С одной стороны – Сталина со своим банькём, а с другой – Тимофей Иваныч со «слабыми» пальцами. Он же её ещё раз переспросил, мол, жалица будешь или как? Но они Вдустрия не видали! Сталина и Тимофей! Так, можа, они бы и не стали при начальстве... Ага! Щелбаны отпускать! И Тимофей переспросил её, а она отвечать:

– Не из таковских я, чтоб жалица! – И ещё ближе шагнула к Тимофею Иванычу, да и лоб подставила.

Тимофей Иваныч лишь вот так вот приподнял ладонь свою и шаркнул средним пальцем по банькю. Многие потом говорили, что он у ней, банёк, ажник забунел от щелчка. А я, правда, не слыхал, чтоб он бунел... – отец загадочно улыбнулся, кивнул головой, мол, вот та-ак и обернулся к верстаку!

Ох уж «энтот» Иосиф Палыч! Я заметил, что он научился держать значительные паузы в щекотливых моментах своего повествования.

– А дальше?! – нетерпеливо приподнимаюсь я со своей подушки. – Дальше – что?!

– Ты, Иосиф, вредный, – мать остановила веретено, – чего дитя мурьжишь? Я, Паша, конечно, могу тебе дорассказать, что там дальше было, но пусть энту историю он сам, пролетар старый, до конца доведет. Пролетар? !

А я вот сейчас пишу, дорогой ты мой читатель, пишу и думаю, может, мне, как и отцу, поступить? В следующей главе закончить «энту» «пролетарскую» историю, а?!.. Она ещё далека до завершения!..

Перенеси меня

Ну, что? Дождался, дорогой! А ты думаешь, мне легко было рассматривать седой отцовский затылок и вопрошать:

– Пап!!.. А дальше! А что там было дальше?

Мать осадила свою модернизированную пряжу. Однако поступает она так крайне редко. Уж если «мурчалку» включила она, значит, это надолго. Процесс образования пряжи – дело завораживающее, красивое и притягательное. Да! Остановила и потребовала от родителя моего и мужа своего, чтобы тот нервы мне не трепал!

– И что ты думаешь, Пашка? – как ни в чем не бывало, продолжил отец, когда повернулся ко мне. – Рази ж против щелбана Тимофея можно было устоять?

– Упала?!

– Только так кувырнулась! Кувырнулась и ляжить сабе, полёживаить! Ну, секунд, – отец подумал, – секунд пять прям в бессознательном положении находилась. Мы тут все и сообразить – чего дальше делать – не успели, как Сталина наша Федоровна открыла глаза, села, потеряла лоб, да и говорить:

– Настоящий пролетар!

И после того, Паша, после того она уж не стала про пролетаров орать, чтоб, мол, соединялись они.

– А Тимофей Иваныч?

– Тимофея Иваныча к начальству вызывали, поругали, да и предупредили, чтоб он больше руки не поднимал на настоящих пролетаров, да щелбанов не отпускал. Вот! – Отец вновь за молчал и повернулся к верстаку.

– Это и всё, про Сталину? – спрашиваю я.

– Всё, – отвечает отец.

– Да не-ет, Паша, – неожиданно встречается мать, – отец тебе не всё рассказал.

– А чего я не сказал? – родитель мой даже стушевался.

– А то, что она в Москве жила. И вообще, ты ничего не знаешь про неё. И все, кто похихатывал над ней, – ничего вы про неё и не знали.

– О-о! Зачем про Москву дитю городить?

– Какой же он дитё? – мать отодвинула от себя стул с прялкой.

– Но нам же он дитё! – справедливо возмутился отец.

– Дитё! – не унималась мать. – Но у него, вон, своя дитё! Дочка вон какая! Большая да красивая! Правильно, Паша?

– Правильно... а что-что ещё?!

– Да при чем тут – красивая она али она некрасивая! – Разошелся отец. – Я разве сказал, что она некрасивая? Ты чего меня путаешь? Правильно, Паша?

– Правильно!

Во время отцовского повествования о Сталине, я заметил, мать вела себя как-то настороженно, странно: молчала больше. И вот! Настал момент, когда надо было подвести черту под всю эту историю. И по настроению матери чувствовалось: черта эта получится жирная! Я даже с подушки приподнялся.

– Ну?

– Ты же знаешь, Паша, – мать поправила свой беленький платочек на шее, – ты же знаешь, что она, Сталина энта Федоровна, недалеко от нас жила, в мельнице отцовской часто бывала...

– Ну, щчас начнё-еть! – проворчал отец.

– А чего мне начинать? Я продолжу. Да! Ну, конечно, мы там и секреты какие-никакие между собой имели. Женщины! Она, Ангелина, всегда на вас, детишек наших, любовалась! Своих Бог не дал, а на чужих любовалась.

– Ой! – скажет. – И какие же у вас с Палычем дети хорошие!

Когда Володя наш на гармошке стал играть, а он же в четыре года научился! Сам знаешь, Паша! Так она иногда и к нам в хату приходила. Хатка-то наша рядом с мельницей была!.. – мать задумалась. – Она, конечно, старше меня была, и намного старше...

– Конечно, старше! – встрял отец. – Она и меня была старше! Она же с Пашаней дружила и заходила к нам, ну, я и помню все эти разговоры, когда кто родился...

– Я и говорю, старше! – перехватила мать. – И вот, бывалоча, придет к нам, сядет у печки на табуреточку низенькую, покурит папироску свою, да и попросить:

– Володя! Дитё ты милый! Сыграй «Яблочку», а? Ну, сыграй, сыграй! «Яблочку»!

Володя наш в то время гармошку-то держал с моей помощью. Вот я и Володю на табуретку посажу напротив неё, Ангелины, гармошку ему на колени, ремешки на плечики, да и сама сзади стану, сзади гармониста, чтоб не упал он! Гармонист! – мать посмеялась негромко. – «Ну, сынок, – скажу ему, – сыграй «Яблочку» для тётки Ангелины». Я ведь всегда её при ней Ангелиной звала!

– Да? – недоуменно спросил отец. – А я и не помню. – Он всё ещё возился с часами – механизм чистил. Но, кажется, делал он это для блезира. Не мог же он просто так сидеть сложа руки да ляды точить.

– Да! – продолжила мать. – И вот, Володя как заиграет, заиграет «Яблочку», а она крепится, крепится, да как заплачет, как заплачет, Ангелина, прямо ажник навзрыд! Володя, бывалоча, остановится и смотрит на меня. А Ангелина кулаком слёзы трёт, а просит:

– Играй, играй, дитё ты милый! «Яблочку», «Яблочку»...

Володя смотрит на меня, и я ему:

– Играй, играй...

Володя играет, а Ангелина опять в слёзы, да ещё и подпевать начинает:

– Эх, яблочка, куды котисси, ко мне в рот попадётся, не воротисси!

– У ней-то и слова какие-то интересные были! В «Яблочке»!

– Какие? – пытаю я.

– О, Паша, да я их уже и не помню, ну... – Мать вновь трогает платочек свой беленький за кончики. – Ну... – вспоминает, – вот: – «Эх, яблочка... – вновь задумалась и тихо, и как-то извинительно, запела: – «эх, яблочка цвета спелого, любила красного, любила белого». Не помню больше, не помню, и не пытай. Да! А однажды на Первомайские праздники, а там, сам знаешь, три выходных дня выпадает, на Первомайские. Отец твой почему-то на мельнице был. Значит, это случилось второго или третьего мая... Ты не помнишь, отец, как к нам Сталина на Первомайские праздники приходила?.. О-о! Нет-нет! Вспомнила, вспомнила! Точно! На мельнице ты был, а я в огороде.

– Сталина к нам на праздник?! – изумился отец.

– К нам. Точно-точно, на мельнице ты был. У тебя два места было: или на мельнице ты, или дома. Да. И вот пришла она. Ангелина. Вы, детишки, по садам, по травке зелёной бегали, отец на мельнице, а я в огороде. Чего-то сажала, если не огурцы и паташки. Да! А теплень-то! Зелень повылазила! Что я и вспомнила. Сад весь чистенький-чистенький! Зелёный-кий! Листики прям целовать хочется. А я их иной раз и цалую. Весной. У тебя такое бываить, Паша?

– Бывает, бывает, – усмехнулся я, – давай без лирики...

– О-о, да она щас сразу пустить! – оживился отец.

– И вот же тебе – зелень! – не обращая внимания на колкое отцовское замечание, в лирическом ключе продолжает мать. – Зелень, вокруг всё тихо, соловушки лишь щелкают. Слышу: «Товарка! А я к тебе в гости! Не выгонишь?» – смотрю, Ангелина с бутылкой водки. Но никогда она с водкой не приходила, да и вообще редко приходила, а тут с водкой, и, как сейчас помню, горлышко бутылки сургучом залитое.

– А почему – «товарка»? Раньше такое обращение у вас между собой было? Я не помню...

– А как же! Паша! Было, было! Ну, это как товарищ – товарка. Товарищ, но в женской юбке. – Мать коротко хохотнула и продолжила: – Мол, товарка, я к тебе в гости.

– О-о, – тяну я, а дальше не знаю, чего сказать.

– Давай, товарка, – она мне, – давай, товарка, бросай свою мотыгу, ставь стаканы и сало режь!

– Раз так, проходи! – говорю. А чего тут скажешь? Да. В подругах мы с ней не ходили, а всегда я к ней хорошо относилась. Мужики-то, вон, отец тебе рассказал, всегда над ней подтрунивали. И надсмехались, и щелбаны вон какие отпускали, и всё было. А я её как-то жалела. Чего-то в ней было такое, что за сердцу трогало! Пока я и не знала, почему. Да. И вот идем мы в хату, я руки мою, салу режу, стаканы ставлю, а она с папироской во рту сургуч у печки сбивает, бутылку открывает. Раньше же водка сургучом была залитая...

– Под сургучом водка была хорошая! – перебивает отец и плутовато лыбится. – Лучше, чем ноняшня...

– Да! – Мать нетерпеливо отбирает моё внимание, восстанавливает справедливость в лидерстве повествования. – И, значит, папироску в печку бросает и водку начинает разливать. Смотрю, себе наливает полный стакан гранёный и к моему тянется, а я ей:

– О! О! Не надо, не надо! У меня же дети и муж на мельнице, придёт, а я тут пьяная валяюсь, ага... – смеюсь. Но она всё же мне налила немного, подняла свой стакан, да и говорит:

– Давай, товарка, выпьем за международный день трудящихся! Чтобы мы жили, не тужили, ещё лучше и светлее!

– Сказала это, чокаться со мной не стала и не так ли опрокинула стакан! Прямо махом! До последней капельки выпила! Смотрю на неё, а она какая-то не такая. Какая-то, словно и здесь, и не здесь со мной, и спешит куда-то. Пришла, а спешить...

– Ох и сала у вас хорошая! Прямо расхорошая-хорошая! – Закусывает и по углам хаты смотрит, смотрит – ищет чего-то, и тут же к бутылке опять тянется.

– Да куды ты, Ангелина? – говорю ей. – Куды ты торописси?!

– «Ко мне в рот попадешь, не воротисси»... – говорит она со смехом, из «Яблочка» стихок складывает и наливает себе опять полный стакан. Я аж ошалела! Мужики так сразу по много не пьют, а тут – баба! В гости, называется, пришла! Да была бы она ещё пьяница, другое дело, а то... Тогда-то люди работали, присесть некогда было, а тут так. Да и пьяниц раньше не было, в те годы...

– Не было, – вновь пробивается отец, – выпивать, выпивали, умели выпить, но чтобы как сейчас люди пьют...

– Да! И вот налила себе опять полный стакан и спрашивает:

– А иде у тебя этот дед?

– Какой дед? – не понимаю я.

– Да дед, в углу энтот висел? – показывает на угол, где у нас икона Николай Угодничек висела. А я сразу понять не могу и всё спрашиваю у неё про деда, мол, какой дед? Дед какой?!

– Да вот тут, тут висел! – тычет она мне в угол.

А-а, тут я и поняла. Ты помнишь, Паша, в Нижней речке в хате с правой стороны, как входишь со двора и прямо направо, висела икона Николая Угодника?

– Н-нет! – Мучительно напрягаю мозги свои, но никак не рисуется Николай Угодник с правой стороны. – А где он сейчас, Николай Угодник?

– Когда мы сюда, в Авраамовские, переезжали, я его там оставила Машке Адамичихе, какая купила хатку нашу. Но так положено было: дом продаешь, вещи забираешь, а икону одну оставляешь. Я и оставила новым хозяевам Николая Угодника. А тогда, до прихода Ангелины, икона действительно в хате висела в правом углу. Но она же к нам не раз заходила. Ангелина. А на Пасху я делала перестановку и повесила к вам, в детскую комнату. И в детской икону не помнишь?

– Не-а, – признаюсь я.

– Эх ты! Конечно, вы дети были маленькие. Тогда про Бога не говорили. Боролись с ним. Да. И она меня, значит, про икону спрашивает. Когда я поняла, к вам в детскую комнатку завела её, показала, а она подошла ближе к иконе, глядела, глядела на неё, потом пальцем вот так ткнула в лоб Николаю Угоднику да и засмеялась как-то нехорошо. Ткнула да тут же и спрашивает:

– А иде жа наш гармонист? Ох, как играть Вовка, как играть дитё! До слез!

Я не успеваю ни ответить, ни слова вставить, мол, зачем ты так Николая Угодника пальцем в лоб тычешь, а она выходит в хату, к столу, берёт стакан и, стоя, не чокаясь со мной, выпивает опять до конца, до капли. Гляжу, а в бутылке её на доньшке осталось.

– Ангелина! – я ей. – Чаво у тебя такое случилось? – говорю, а стакан свой на стол ставлю, не пью, понюхать не успела! – Чаво у тебя?! – спрашиваю.

– А что? – смеётся она, садится на стул, папиросу опять в зубы. – Праздник! – говорит. – Праздник трудящихся! Пролетары всех стран, соединяйтесь! У тебя дети есть, а у меня их нету. Вот такая я пролетара! Сильно старалась, чтобы они соединились, пролетары, да и перестаралась, а таперича...

А я ей и ляпни, как в шутку:

– Какие твои годы? Ты вон какая видная! Возьми да роди себе в утешение мальчика али девочку!

Ага. А она же женщина интересная была! Ангелина! Красивая, статная, видная, видная такая!

– Да, – неожиданно подтвердил отец, – женщина она была интересная!

Возникла внезапная пауза. Отец замер, но он был повернут к нам спиной, а мать посмотрела на спину его, и у меня вдруг в голове пронеслось: «Неужели?! Неужели у отца нашего со Сталиной роман произошел?!» Я хоть и мал был, но помню тётку Сталину с папироской в зубах! Яркая она была! Это точно! И вот, мелькнуло в голове моей, сейчас мать хочет выска-

зять мне это вслух?! Да-а... Я уже окончательно поднялся с подушки и с интересом смотрел на родителей.

– А чего? – выдержав паузу на своих плечах, спросил отец, развернувшись к нам. – А чего, – повторил, – чего, Нина, не так, что ли? Интересная!

– Так, так! – без какого-либо подтекста подтвердила мать.

– Ну и? Дальше? – Честно признаться, застыдился я тогда мыслей своих, понял, что никакого разоблачения родительского не произойдет. Помню, ещё подумал про себя: «Подлый ты, москвич, такие мысли грязные у тебя в голове». Подумал и вновь прилёг на мягкую подушку.

– Так вот, когда я ей про мальчика-девочку ляпнула, – продолжила мать, – так она на меня так глянула, что у меня ажник вnutрях похолодало!

– Мальчика, девочку, говоришь? – Сталина отвечает и берёт бутылку. – А выпить у тебя, подруга, есть ещё что? Что-то совсем меня не пробирает.

– Есть, – говорю, а сама думаю, не пробирает, так проберёт ещё. И пяти минут не прошло. Вопрос себе ставлю в голове: и не устроит она мне тута чаво-нибудь пьяная? Все же знали, что в Москве она провела разгульную жизнь. Чего только про неё и не рассказывали. Страшные истории! Да только всё это были слухи. А слухи – это чаво? Мало чаво злые языки не наляскают! Ага! Смотрю, а в глазах у неё и то, и сё. Мечется прям! Дальше думаю: да выговориться хочет она, Сталина. – Эх! – говорю. – Есть! – говорю. – От Палыча тут прятала!

– А зачем ты от меня прятала? – встрепенулся отец.

– Да когда это было?! – удивилась мать. – Это ж... ге-ге...

– Нет! Мне интересно знать будет: зачем ты спрятала от меня? Самогонку? – Родитель прямо-таки обиделся на жану свою, часы отложил, развернулся. – Ты слышал, Паша? Слышал? И вот так всю жизнь прятала! И щас где-нибудь стоит спрятанная. Вот спроси, спроси у ней: есть или нет...

– Есть! – без запинки, сразу и бодро ответила мать.

– Гм... – Отец как-то сразу опешил от неожиданного признания своей жены, а потом расцвёл. – Вот, Паша, как действовать нужно! По горячим следам! Нонча вечером ты это... – Родитель покрутил пальцами. – С сыном посидеть надо!

– Посидим, посидим, – обещает мать.

– Мам, дальше! – прошу я, переворачиваю подушку в поисках наилучшего расположения беспечного и брэнного тела своего.

– Ага, и вот... Принесла я чего там было у меня припрятанное. Самогон! Самогон без сургуча, Паша...

– О! Самогон хороший, и без сургуча хороший, – опять встречается отец. Он заметно повеселел. – На Нижней Речке, знаешь...

– Пап! Ну подожди ты с нижнереченским самогоном! Дай слово другому оратору!

– Чаво?..

– Другому оратору, *жане свайй*, Нине Димитриевне дай высказаться, – прошу я.

– А-а, ну пушай поговорить, а я на баз схожу: погляжу, чаво там и как, – отец оставил часы и спешно стал собираться на двор.

Понял я, что далее в рассказе матери будет звучать что-то ТАКОЕ, чего отец застыдился бы слушать в моем присутствии. Так оно и вышло. Одетый, уже у двери, прежде чем надеть шапку, отец постучал себя пальцем в висок, сказал матери:

– Ты, Нина, это, соображай, чего будешь ляпать сейчас сыну родному! – сказал и вышел в чулан.

– Соображу, соображу, – вдогонку успокоила жена мужа и, переведя взгляд на меня, тихонько вздохнула. – Да, Паша, отец прав. Тут и не знаешь, как тебе всю правду рассказать про Ангелину энту Сталину. До тонкостей... Тут такие тонкости...

И далее мать стала так вилять и обходить все пикантные подробности, которые, в свою очередь, «ляпала» ей Сталина, что я беру на себя смелость скорректировать речь рассказчицы Ангелины.

– Давай, рассказывай хоть намёками, и я соображу. – И вот я окончательно оторвался от подушки и приготовился слушать «всю правду, до тонкостей» про тётку Сталину. Хотя я представлял, о чем сейчас мать начнёт мне «ляпать». В детстве мы, ребяташки, тоже слышали разное и тайное про красавицу тётку Сталину...

– Ага! Значит, на чем я остановилась?

– На самогоне...

– А, на самогоне! Значится, ставлю я самогон, а она мне и говорит:

– Сама разливай, меня уж немного разобрало. Командуй, товарка, а я тебе расскажу про свою жизнь! Знаю, что про меня судачат, но я же выполняла партийные установки! Ты понимаешь, подруга! Партийные! Ничего ты и никогда не поймёшь!.. Но слухай. Я же сама из Дьяконского хутора. И родилась тут. Знаешь, как мы при царе Николашке бедно жили? Страсть как! Бедней нас в хуторе и не было. Вечно голодные, холодные. Казачки-то земелюшку имели, а мы? Мы же пензяки. С Пензенской пришли. И там Хопер тикётъ. Ну, кубыть, как рассказывали в нашей семье, кубыть, дед наш Никанор и там, в пензенской на Хопре, жил. А Хопер там – маленький. И в пензенской дед Никанор тоже плохо жил, и решил он с Хопра маленького на большой податься. Да не один. Был у него, у деда, ещё товарищ. Тоже сапожник, Аверкин. Ну и решили они в две семьи лучшей доли поискать. Уж как он там добирался... И на плоту плыли, и на быках и лошадях ехали, только чего-то Аверкины в степи остановились, в Грачах под Алексиково, а нашему деду приглянулся хутор Дьяконский. Тут он и остался. Сапожничал, умер рано, а у отца Федьки, сына Никанора, руки не туда были пришитые. Сам дед про то говорил: «У тебя, Федька, руки к одному месту пришитые! Ничаво ты не могёшь делать!» Вот, товарка, мы и бедствовали. А нарожал он нас целую кучу. Федор Никанорыч. Так что революция для нас была спасением! О-о, подруга, наливай!..

Наливаю я ей, а сама и думаю: «Да-а, для кого как. Сколько, вон, поубивали, сколько раскулачили людей! Зазря! И бедных, и всяких кулачили!» В общем, не родня мы со Сталиной в этом вопросе оказались. Думаю-то я думаю, Паша, а вслух не решаюсь перечить. Да! А Сталина моя не так ли разошлась! Раскраснелась! Ну, шутка ли, бутылку, считай, одна выпила! И я ей:

– Ты давай, Ангелина, закусывай, закусывай!

– Жили у нас на хуторе Дьяконском... – отмахивается она, – жили у нас на хуторе Дьяконском... подруга, не бойсь за меня! Я такова перевидала!.. Щас, щас... – Ангелина выпила, съела кусочек сала и продолжила: – Жили у нас в Дьяконском два брата Сухоруковы. Сергей и Степан! Чубатые такие! О-о, красавцы! Они погодки были, но похожие! Как близнецы. Ну – два близнеца! Сергей старший, а Степан за ним. Если они были страсть как похожие внешне, то внутри... это были совсем два разных человека. А пришлось мне, подруга, полюбить их, и того, и другова. И Сергея, и Степана. – Ангелина замолчала, вспоминая, ещё пару кусков сала в рот положила. – Мда... хорошая сала. Сергей мне больше нравился. Как, нравился? Любила я его страшно! Он был какой-то сродственный и справедливый, но дурак, открыто пошел против коммунистов. Зачем он пошел против коммунистов?! Сейчас бы жили с ним поживали, и детишки были бы... да. Не понимаю. Не успела разобраться. Хотя чего там разбираться?..

Она, Паша, Агелина, говорила, да чего-то не договаривала, – мать решила сделать пояснение. – Знаешь, такое время было, что ВСЁ говорить, чего думаешь, опасно было. У нас в мельнице кого только не было! И все, Паша, перебивали у нас, в хатке нашей. И каких только историй я не наслушалась! Не всё же коммунисты к нам заходили. У нас-то, в нашем углу, один Семашок был коммунистом, но такой дурак! Дурак дураком! Но он же напролом лез! А были люди, обиженные властью, которые прошли разные и ужасные испытания! Они всё

больше молчали и улыбались, а уж если начинали говорить, то вприкуску с оглядкой. Вот так и Ангелина. Понимала я, что чего-то она не договаривает. Ну, я её слушала, не перебивала, а она говорила:

– А Степан, он с моим братом Пашкой сошелся. Но это чуть позже будет. Вот как бывает! Они меня были постарше, но я помню эти белые чубчики. В детстве они были не разлей вода, а как выросли, врагами стали. И в детстве, когда росли, Сергей-то был сильнее Степана и поколачивал Степана. Степан был, знаешь, какой? Любил всё делать исподтишка и мстительный был. И за это ему от брата часто доставалось. Это как раз революция тут происходила: и белые, и красные, и банды разные пошли. Лето. Жара. И пошла я к Хопру охлынуться. Лет пятнадцать мне на ту пору было. И плавала же хорошо. А пошла не туда, где все купались, а в потаённое местечко. Чтоб голышом нырнуть. Страсть как голой купаться любила! Ага! Разделась, в воду полезла. И в этом месте я уж не раз купалась, а не знала, что там режак стоял, сетка рыболовная. Но как-то все обходилось. А тут, подруга, что ты тут думаешь?! Ногой попала в этот режак и вырваться никак не могу. Перепугалась, стала биться, как утка на волне, да ещё больше запуталась, орать стала. Хлебнула раз, второй. Гляжу по сторонам – на берегу никого не видать и не слышать. Даже детворы не видать. Ну, в голове мысли, капец котёнку! А сама ору, как могу. И всё, силы тают и тают... Ага. Я уже не видала, как с той стороны Хопра, где левада Сухоруковых была, на выручку ко мне братья поплыли. Косили он там, услышали мои вопли, бросили косы, да ринулись ко мне. А я и не чуяла уже ничегошеньки. Считаю, что уже утонула. Кто там меня вытаскивал и как спасали, не ведала я. Уж потом я восстановила у себя в голове, как всё это произошло. Сергей первый подплыл, ногу мою распутал от режака, подхватил на руки и вытащил на берег. Но я же голая! Нина! Голая была! А там и Степан за Сергеем вылез. Положили они меня на берег. Сергей стал откачивать меня, а я лишь почуяла, как за грудя кто-то меня щипать! Ажник прям больно щипать. Очнулась, а они обоим склонились надо мной. Сергей в чувства меня приводит, воду из меня выкачивает, а Степан хихикает так тихо и за грудя меня тихо тянет, тоже как в чувства приводит. А мне так тяжело, так тяжело! Голой лежу, а сообразить не могу, что я голая. Нахлебалась, подруга, нахлебалась. Вон, сколько лет прошло, а помню всё. Когда в чувства пришла, тут я прям всё, всё до чёрточки помню! Я вроде как ступевалась, стыд охватил меня, руку к груди сваей подтянула, чтоб защититься от руки Степана, а Сергей заметил это. Ухватил брата за руку и заорал:

– Ты чего?! – Как двинул Степана, тот аж кубарем покотился. Сергей за платьем моим бросился, туда, ниже, где я раздевалась. А Степан, как ни в чем не бывало, вскочил и опять ко мне. Вперился в меня бесстыжими зенками, сидит и разглядывает. Не будь Сергея рядом, Степан быстро бы меня... ага. Я уж тут руки смогла подтянуть к месту своему девичьему главному и прикрыть яво. Вот такая стычка у них из-за меня произошла. Я ещё лежу, а Сергей платье на меня положил, прикрыл мои наружности и отвернулся, а брату приказал, чтобы, мол, пошли отсель. Схватил Степана за шиворот и толкнул его. Видишь, какие разные были они, братья эти?

Ну... События тут менялись чуть ли не каждый день. Мобилизация белых прошла. Обоих братьев забрали. Где-то они там воевали, чаво, я уж тебе и не могу сказать до тонкостей, только Степан вернулся домой. Один. И вот тут же он с братом моим Пашкой нашли язык общий. А Пашка друг закадычный был у Серёгина. Видишь, как дело пошло! Серёгин, откровенно сказать, при царе Николашке был обыкновенным разбойником, а власть наша как пришла, стал первым коммунистом у нас. Прозрел, товарка, прозрел! Такое бывает. В Москве потом я этого насмотрелась. Такие чистокровные уголовники в партию вступали! О-о, революция людей сильно перерождала! И вот... И вот, значит, Сергей в белых, а Степан на красной стороне. Но ты знаешь, он прям за мной стал охотиться. Степан. При случае то за руку схватит, то ещё за чего. Я его прям возненавидела и избегала встречаться с ним. А тут белые подступили. Степан с Пашкой братом тут же скрылись, Сергей с отрядом белых появился. Ненадолго,

правда. Но встретиться мы с ним успели. Да-а, встретились... В первый же день, как они в хутор въехали. Тут я постарше была и соображала, где свои, а где чужие. Да как соображала?! Крест свой сорвала с груди! В комсомолки устремила! Заговорили же, что, дескать, организация такая для молодёжи образовалась, комсомол! Дескать, жизнь без попов, свобода, Ленин и всё такое! Это уж в году девятнадцатом. А уж их много в том году пококошили, беляков. Ну, соображать-то соображала, а выскочила чужаков посмотреть. Отряд мимо нашей хаты и проезжал. В верхах они ехали. Все в верхах, а Сергей на подводе. Я думала, что это командир едет на подводе, а это он, Сергей. Но он раненый был. Но я не знала, что раненый. И рана у него глубокая была. Ну, я и гляжу, как беляки едут, а беляки-то все свои, хуторские. Какие-то и чужие были, но, в основном, все свои, хуторские. Ага. Он как увидал меня, Сергей, поравнялся и спросил, как бы это с усмешкой:

– Не утопла ещё? – спросил и подмигнул. Подмигнул и поехал дальше. А у меня так сердца сжалась, подруга! Страсть! Как молоньёй он меня пронзил! Ты понимаешь? С молоньёй у меня ещё было. Поражала меня молонья. Влюбчивая я была, товарка. Влюбчивая. Вот и била меня молонья, да с таким громом! О-о, подруга!.. Но это потом было. А вот Сергей сразил. Первый. «Не утопла еще?» Да-а, и молонья била с громом, и тонула не раз... Жизнь у меня была бурная, товарка, бурная. Наверное, я бы могла её изменить, но!.. Прожила как прожила! И вот тогда я захотела с ним встретиться, с Сергеем, как только увидела его. Тут уже не до политики! Свой, чужой! Молонья бьёт, и прям в сердце! И чего тут сделаешь?! Любого случая искала. Встречи. А он там в хате у себя раненый отлёживался. Скоро наши большим отрядом подступили. Но среди наших хуторских было больше чужих. В числе всех Степан находился, брат Пашка и комиссар один важный там же. Войны особой не было. Постреляли, постреляли, белые отступили, а Сергей с матрешкой остался. Раненый же! Перевязанный. Хотя чуть-чуть шкандыбать стал. Да. Отец к тому времени у них уже умер, до революции ещё он умер, вот Сергей с матрешкой в хате и находился. А тут Степан заходить. Ну... Чаво там у них с Сергеем было, никто до тонкостей не знает. Только драка у них произошла. Сильная. Сергей потом мне говорил. Так что надо было ему уходить. Спешно. Пока мать его защищала. А там же наши могли его и расстрелять. А это уже ночь наступила. Я рядом была. За Сергея переживать стала. Как, чаво там с ним станется! Всё выслеживала. Сергей-то выскочил в шинели с винтовкой и шашкой и задами, задами, к Хопру. Я за ним. Он так шкандыбать, шкандыбать, оглядывается, а не видит меня пока. А в лесок входит, он, видать, и почуял. Винтовку вот так дёрнул, гыкнул ей, оглянулся и встал как вкопанный. Я-то поняла, что он почуял, что за ним крадутся. А крадусь-то – я. Я ему из травы так кричу, ну, не громко кричу:

– Сергей, это я, Ангелина Зюкова, не пужайся! – бегом к нему, а сама-то трошки побавляюсь.

– Чего тебе? – он так строго спрашивает меня.

– Хочу тебе помочь, – я ему отвечаю.

– Ты из другого лагеря, – он мне, – ты знаешь, кто я?

– Знаю, – говорю я ему, – но ты же меня спас, когда я тонула. Таперича я хочу тебе помочь.

– И чем ты можешь помочь? – ухмыляется Сергей, а сам весь во внимании. – Прикопаешь, когда твой брат и мой брат пристрелят тут меня? Иди, иди отсюда, я как-нибудь сам управлюсь. – Он меня вот так толкает от себя, а я его руку хватаю и говорю ему:

– Серёжа, я с тобой пойду, возьми меня с собой.

А он прямо ошалел. Да я сама не поняла, как это у меня вырвалось.

– Куда я тебя возьму?! – Он прям, правда, ошалел. Вот, сколько лет прошло, а помню, как сейчас.

– С собой! – говорю я ему.

– А ты знаешь, куда я иду?! – удивляется он.

– Не знаю, – я ему.

– И я не знаю...

И тут стрельба послышалась, крики какие-то. Сергей оттолкнул меня и туда, к Хопру, устремился. А я-то – настырная! Прячусь от него, а сама за ним. А он спустился к воде и лодку стал свою искать. Я её нашла быстрее его:

– Вот она! – кричу я ему. – Лодка ваша!

– Уходи отсель! Уходи! – он на меня прям рычит.

А в хуторе стрельба не кончается. И какие-то вскрики, вскрики. И как будто шум этот к нам приближается.

– Я боюсь, – я ему, – возьми меня на тот берег, а как всё утихнет, я назад вернусь.

Ну, сели мы с ним в лодку, переправились на ту сторону. А у них, у Сухоруковых, там левада была, шалаш стоял. Сергей-то еле-еле дотащился до шалаша. У него бедро – вот тут вот штыком насквозь проколотое было. И пока чикилял он, и, видать, от напряжения, опять рана ожила. Он как в шалаш свой зашел, так и рухнул на сено. Хорошо сена много в шалаше лежало. А уж конец сентября стоял. Да. Прохладно уж было. И темно. Он, видать, почувствовал, что рана у него сочиться стала, и просит меня:

– Принеси воды. Ведро там найди и принеси. Только тише плескайся.

– Шас, шас! – Я сломя голову, счастливая, не знаю, от чего, за водой в Хопер бросилась. Ну, в общем, подруга, скажу я тебе, что в эту ночь я осталась у него. Он мочой свaeй рану обработал, пока за водой я бегала. Когда я вернулась, он уже рану перетягивал. Только я с водой в шалаш, а он мне:

– Таперича иди назад. Плыви...

– Куда я поплыву? – Я ему. – Я боюсь. И замёрзла... – А и правда, замёрзла я тогда. В платице одном была. Он меня гонит, а я ни в какую! Упираюсь! Начала хныкать, как девчонка малая. И, в конце концов, он мне:

– Ну, иди, иди сюда! На, вот. Сколько лет тебе? Хнычешь...

– Семнадцать! – я ему отвечаю. А самой шестнадцать только-только исполнилось.

А темень уже. Я так на ощупь к нему, Сергею, придвинулась, он мне шинель свою суёт и дальше спрашивает:

– Тебя не будут искать в хуторе?

– Кому я там нужна? Никому я не нужна... – А и правда, такое время наступило, мы уже и комсомолили! Собирались, гужевались, беднота. Готовые за свободу были итить хыть к чёрту на рога! Так что я могла у подруг своих заночевать. Правда, таких нас совсем мало было в хуторе. Да. Две еще таких дурочки.

В общем, осталась я на ночь у идейного своего врага. Притирались мы, притирались молча, а там и вместе под одной шинелью оказались. Я дышать боялась, не шевелилась. И он. Потом мне сам признался в этом. Мы даже касаться друг друга боялись. А я согрелась и уснула. До утра спала, как убитая. Открываю глаза, утро уж. Раннее. А он на локоток вот так облокотился да и рассматривает меня. Улыбается...

Сталина замолчала, задумалась, потянулась было к самогону, но не стала пить.

– Я, подруга, – продолжила она, – вспоминаю эту неделю, какую мы с Серёжей прожили вместе в шалаше его, всю жизнь вспоминаю. Как бы и где бы мне ни было тяжело, я всё шалаш вспоминаю. Вот и говорят, с милым рай и в шалаше. Правду говорят. Сама испытала. Ведь ни у меня, ни у него не было близости ни с кем. Как же мучительно сладко было нам вместе, подруга! Это уж во вторую ночь всё произошло. Днём я в хуторе появилась, посверкала там, тряпок всяких насобираала, чтоб перевязать. Потом в Ключанский хутор сбегала за мазью. Дед там один старый жил, мази делал от ран, и всякие у него травы были. Лекарь! И правда, мазь энта быстро Серёжу подлечила. Я же ему рану мазала. Ну! Намазала. К вечеру я ему старые тряпки, все эти бинты перестираала, повесила сушить и заползаю в шалаш, а Серёжа мой спит. Теперь я на него долго смотрела. И он для меня стал таким желанным, близким и дорогим... Я взяла

да и поцеловала его в губы. Первый раз в жизни целовалась! Поцеловала и всё! Пропали мы с ним. До утра пропали! А там и до обеда. А там и... двое суток, подруга, как час прошел! Где-то там война, стреляют, убивают, а мы с Серёжей, из разных лагерей, никак не намылимся. Уж и сил любить нет никаких, а всё любит. Он все родинки мои на теле перецеловал, а я его. Понимаем, что вставать надо, ему бежать, и мне в хутор уходить, а всё молчим, думать об этом боимся! Вот как! Наконец выстрел услышали. Может, стреляли до этого, да мы не слышали, а тут услышали. Стрельнули непонятно где, может, и не в нашем хуторе, а Серёжа и говорить:

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.